

ваемся теми счастливыми, кому довелось родиться арийцами, мы не решаем никаких проблем даже для себя самих с помощью подобных решений, поскольку факторы, приближающие катастрофу, остаются. Таким образом, в Германии – после уже пережитого хаоса – мы не видим ничего другого, кроме движения к большему хаосу именно потому, что «новый образ жизни» не являлся на самом деле новым, а лишь представлял собой угнетающе старый способ чистого обмана. Следовательно, после всей этой «перемены», факторы, двигающие к хаосу, остаются нетронутыми, они даже усиливаются. Это правда, что немцы испытывали чувство негодования по поводу проигранной войны, что усилило их восприимчивость к риторике Гитлера. Однако в более широком смысле – это уже неоднократно было подмечено – весь мир проиграл войну, и накопившиеся пороки капиталистического порядка придали ему сильный толчок в направлении хаоса. И здесь вновь возникает чувство негодования и фрустрации по поводу неспособности мужчин работать и зарабатывать деньги. В этот момент какой-нибудь промышленный или финансовый монополист, раздосадованный противоположными голосами в нашем парламенте, может пожелать кратковременного спокойствия, которое дарит один голос, усиленный социальными организациями, и когда все остальные голоса не просто успокоились, а их успокоили. Так он может – по подсказке нацистов – захотеть поддержать группу бандитов, которые, став политическими руководителями государства, защитят его от оправданных требований рабочих. Его бандиты, таким образом, станут его гарантией от его рабочих. Но кто будет его гарантией от его бандитов?

© Берк К., 2008

Серио П.

Лозанна, Швейцария

Перевод: Филатова К. Л.

**ДЕРЕВЯННЫЙ ЯЗЫК,  
ЧУЖОЙ ЯЗЫК И СВОЙ ЯЗЫК.  
ПОИСК НАСТОЯЩЕЙ РЕЧИ  
В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ЕВРОПЕ  
1980-Х ГОДОВ**

Связь между типом политики, осуществляемой режимами различных социалистических стран, и способом словесного выражения этой политики, как правило, не подвергается сомнению. Так, недавно обсуждался «свинцовый язык» китайского режима и был сделан вывод о том, что «деревянный язык» в СССР умер (газета *Le Monde*, май и июнь 1989). Однако читатель найдёт здесь исследование не политического языка в странах Восточной Европы, а того, что в самих этих странах о нём говорится. Объектом данного исследования является ме-

тадискурс о деревянном языке, складывающийся именно там, где этот язык функционирует. При этом мне кажется возможным попытаться решить две задачи: выделить образ языка, работающего в этих метадискурсивных текстах (или дискурс о языке другого), и исследовать оригинальный подход разных стран Восточной Европы, сравнивая их отношение к «политическому языку».

Моя гипотеза заключается в установлении связи не столько между политикой и её дискурсом, сколько между эпистемологической установкой по отношению к паре язык / власть и степенью развития политической рефлексии, причём сама эта связь зависит как от местных обстоятельств, так и от национальной специфики каждой из этих стран.

Представленные здесь тексты были собраны исходя из их доступности и для того, чтобы показать различные условия их создания: различны их авторы – лингвисты, социологи, журналисты, различен сам их предмет: язык буржуазного противника, язык пропаганды коммунистической власти, свой язык. Но во всех случаях сам объект этих текстов совершенно однороден: мы имеем дело с металингвистической рефлексией, топологией языка другого и своего языка, плохого языка и хорошего языка. Этот объект-язык может называться *nowo mowa* (Польша: «новояз», «*newspeak*», «*novlangue*»); *język propagandy* (Польша: «язык политической пропаганды»); «официальная пропаганда» (П. Фиделиус, Чехословакия); «тоталитарная пропаганда» (там же); «пропагандистские слова» (там же); «пропагандистский дискурс» (там же), «язык буржуазной пропаганды» (СССР); «язык политики» (там же); *politički govor* (Сербия: «политическая речь») *jezik mnoznicnih obcil* (Словения: «язык средств массовой информации») *uradovni jezik* (там же: «бюрократический язык»). Какова степень метафоризации в выражении «язык» пропаганды, бюрократический «язык»: идёт ли здесь речь о языке? Происходит ли в социалистических странах появление нового «языка», которому лингвисты становятся свидетелями, как астрофизики, наблюдающие рождение новой звезды? Или же это всего лишь удобная метафора, поспешное сравнение? Тогда какие последствия имеет этот терминологический сдвиг?

Как организуется эта топология, что такое *другой язык*, тот, который не сделан из дерева? Как будет определяться альтернативный язык (настоящий язык, свой язык, и т.д.)? Последний, но не по значимости, вопрос: какое отношение имеют ко всему этому лингвисты? Читатель найдёт здесь попытку типологии, построенную на принципе расстояния от объекта: следуя логике, восходящей к М. Бахтину, речь идёт о классификации по признаку метадискурсивного отношения, по степени интерпретации Себя и Другого.

# 1. Язык другого – это другой язык

На одном конце шкалы отчуждённости, как мы её представляем, можно обозначить максимальное расстояние между наблюдаемым объектом и наблюдателем. Тем не менее, этот объект наблюдается не с точки зрения Сириуса, потому как он определяется как язык противника, антимодель, от которой свой язык должен радикально отличаться. Такая позиция отражена в издании “Язык и стиль буржуазной пропаганды”, вышедшем в Москве в 1988 году. Это сборник статей, явно предназначенных для журналистов, но, что интересно, написанных лингвистами и психолингвистами МГУ. Эта работа мало соответствует образу той перестройки, которую себе представляют на Западе. Если, конечно, не интерпретировать этот анализ политического дискурса в США (война во Вьетнаме, Никарагуа) и в Великобритании (Фолклендская война) как пример “Эзопова языка”, столь любимого Чернышевским: как обходной способ избежать цензуры, чтобы на самом деле говорить о деревянном языке советской власти.

Проблематика книги сразу располагается «в духе нового мышления» (с. 5) и отсылает к выступлению М. Горбачёва на 27 съезде КПСС в 1986 году. В то же время, неоднократно настаивается на международном положении в плане «обострения идеологической борьбы» (с. 9, с. 33). Таким образом, роль лингвистов является ключевой для «выявления закономерностей использования лингвистического аппарата в буржуазной пропаганде» (с. 3). Эти лингвисты работают в рамках “марксистского языкознания”, которое определяется как «системный подход к языку, неразрывность связи языка и мышления, подход к языку как к социальному, общественному явлению» (с. 9).

Лингвистическая дисциплина, призыв к которой здесь звучит, – это “марксистская прагматика” (с. 14). Цитаты берутся чаще из прагматики англо-американской (Сёрль, Грайс, Хэллидей), чем из “марксистской прагматики”, которую надо ещё определить. Постоянно предполагается, что этот прагматический подход будет раскрывать те “средства и приёмы”, при помощи которых пропагандисты могут эффективно влиять на сознание своей аудитории (с. 14), что делает из прагматики риторику, а из политического языка – убеждающий язык (с. 12).

Важное следствие прагматического подхода: в отличие от французских теорий дискурса (будь то М. Фуко или М. Пеше), у любого текста (пропаганды) есть свой субъект-автор – буржуазный пропагандист (с. 72), и конкретный адресат – “получатель”, объект политической эксплуатации (с. 67). Отталкиваясь от оппозиции “субъективность / объективность”, которая кажется само собой разумеющейся, исследования сборника концентрируют своё внимание на

выражении субъективности (определяющейся как учёт интересов и намерений говорящего) в синтаксических структурах текстов буржуазной пропаганды. Они выделяют такие формальные признаки, как: пассивный залог, сослагательное наклонение, безличные конструкции, модальные глаголы, повелительное наклонение, пресуппозиция, глаголы пропозиционального отношения (“косвенный комментарий”), перформативы (с. 25). Обратим внимание на то, что большая часть этих характеристик были уже отмечены на Западе по отношению к советскому или польскому деревянному языку. Но возможная связь между “субъективацией” и безличными конструкциями здесь никак не выражена.

Если для авторов сборника модальные высказывания являются чертой «колебания семантики высказывания, её неустойчивости», то мне кажется, что выводимая модель идеального языка политики – это простое утвердительное законченное предложение в изъявительном наклонении (аристотелевское суждение). Таким образом, субъективность рассматривается как “приложение” по отношению к этому образцовому высказыванию, и говорящий является “экстралингвистическим параметром” (с. 26).

Этому обесцениванию субъективного есть две причины. С одной стороны, присутствует потеря референциальной функции: «проходя через фильтр буржуазной идеологии, объективное содержание оценки искажается, субъективируется, превращаясь зачастую в свою противоположность» (с. 19). С другой стороны, эта потеря объясняется тем, что “субъективный смысл” не является “надивидуальным” (с. 65, выражение принадлежит А. Н. Леонтьеву). И здесь также велик контраст с французскими теориями субъективности в идеологии (Л. Альтюссер): мы говорим о разных субъектах.

Необъективный язык и «орудие контроля» (с. 6), язык буржуазной пропаганды обладает эффективностью, которая основана на его иррациональности: он производит “эффект оглушения”: человек теряет способность логически мыслить, рационально интерпретировать факты, поскольку всё сделано для того, чтобы спровоцировать эмоциональную реакцию, всё основано на чувствах, разум в некотором роде «отключается» (с. 93).

Эффективность происходит также от сознательного и намеренного использования приёмов импликации (имплицитная номинация, имплицирование, с. 18) и стереотипизации (оценка событий даётся “в готовом виде”, с. 89). Стереотипам удаётся повлиять на мышление, так как «языковые формы мыслей могут продолжать существовать, даже когда мыслительное содержание уже давно утратило своё прежнее значение» (с. 22). В этой риторике манипулирования язык функционирует уже не затем, чтобы сказать правду, а затем, чтобы заставить пове-

рить и, тем самым, заставить сделать. То же самое происходит и с употреблением метафор (или “ложных номинаций”): после Фолклендской войны, британская пропаганда пытается убедить население в том, «забастовки трудящихся – это война против всей нации», превращая бастующих во внутреннего врага (с. 194). Цель – заставить получателей реагировать в соответствии с интересами пропагандиста, «сформировать мнение и отношение к политическим событиям, происходящим в мире» (с. 5) и, главное, сделать так, чтобы это принятие точки зрения «не ощущалось как давление извне, а воспринималось как результат собственного добровольного волеизъявления» (с. 73).

Этот способ рассматривания языка политики как манипуляционной техники основывается на идее полного господства говорящих над своим языком; они осуществляют осознанный и намеренный выбор, вплоть до того, что могут «вмешиваться в язык» (с. 197), в основном посредством «лексико-семантических смещений в значении слов, подмены понятий» (с. 15), нацеленных на проведение в коммуникации “идеологических сем” буржуазной пропаганды. Пропагандист, самостоятельный субъект, прекрасно осознает, что он лжёт и намеренно манипулирует языком, осуществляя тем самым “двуличное мышление”. Крайне любопытно, что этот сборник цитирует именно Дж. Оруэлл: У. Смит, герой романа “1984”, используется как модель лживо использующего язык пропагандиста (с. 61).

Видение языка политики как намеренного обмана, ложной номинации (пример: называющий Контрас «борцами за свободу Никарагуа» прекрасно знает, «что в действительности стоит за этими словами», с. 68) предполагает моральное отношение к двойному языку: *достаточно сказать правду*, что напоминает о моральном требовании у другого русского – А. Солженицына. Это отношение к языку основано на идее, что существует непосредственный доступ к действительности, и ей можно дать номинацию, которую можно немедленно оценить в соответствии с единственным критерием истинность / ложности, или адекватности / неадекватности слов вещам.

Итак, сборник даёт множество примеров ложных номинаций реальности в буржуазной пропаганде, которые затем переводятся “как на самом деле”. Пример: “советская военная угроза” (ложно) = “оборонительные меры в единстве с мирной инициативой” (верно). Это “словесное искажение реальности” (с. 70) возможно потому, что язык используется как инструмент убеждения и навязывания ложных представлений об истинных фактах (с. 75, с. 168, с. 180).

Следует подчеркнуть, что в отличие от польских тезисов о *powo towa*, язык другого здесь – это не полностью отрезанный от “естественного языка” язык, а нечестное использо-

вание этого естественного языка. Как следствие, очень большое доверие будет оказано языкознанию, которое тем самым станет герменевтикой, служащей «определению идеологической позиции адресата, его ‘точки зрения’, то есть отношения к событиям, явлениям реальной действительности, несмотря на стремление скрыть или завуалировать их» (с. 13), и советские лингвисты получают роль в «анализе форм отражения буржуазной идеологии в языке» (с. 32), делая возможной работу «контрпропаганды» (с. 72).

Наконец, эксплицитное требование прозрачности значения (с. 37) позволяет нам воссоздать основные черты альтернативного языка, предложенного в сборнике: “естественный язык” (с. 13), “общенародный язык” (с. 31) – это язык объективный, без субъекта, составленный из простых утвердительных предложений в изъявительном наклонении и из существительных прямой номинации. Но причины эффективности языка политики не изучаются по настоящему, в частности, не рассматривается возможность, что “адресат” в некоторой мере и неоднозначно разделяет политический дискурс, участвует в нём, присоединяется к нему.

## 2. Язык другого – это плохой язык

Многочисленны примеры того, как в странах Восточной Европы исследователи изучают язык политики в своём собственном языке – более или менее тайно, в зависимости от цензуры. Кажется, что чем критичней их отношение, тем меньше они допускают возможность интерпретации: собственный язык не затрагивают, это свободное пространство, которое следует расширить борьбой.

Именно так обстоит дело с книгой югославского социолога Слобадана Инича “*Govorite li politicki*” («Говорите ли Вы на политическом?», Белград, 1984), краткое изложение которой представлено в этом номере. В русле рассуждений, которые не могут не напомнить критику языка (Sprachkritik) К. Краусса, он предлагает “борьбу за язык” (borba za jezik), основанную на анализе приёмов “политической речи” (*politicki govor*), которая противопоставляется по всем пунктам речи “народной”, повседневному языку, предположительно, означающему напрямую и лишённому двусмысленностей.

Язык власти и здесь состоит из “семантических сдвигов”, из “злоупотреблений”, направлен на то, чтобы “маскировать действительность” (с. 22). Используемым приёмом и здесь является ложная номинация, когда “белое” называется “чёрным” и наоборот (с. 90). Хотя политический язык и не называют здесь *newspeak* (*novogovor* по-сербохорватски), предложенная модель соответствует ему в общих чертах. Речь власти в Югославии, зашифрованный язык, сделанный из революционных формул, позаимствованных из дискурса прошлых времён, это “словесная магия” (с. 115), совершенно

неадаптированная к современной действительности. Она противопоставляется “аутентичной речи”, например, рабочих, которые живут в ситуации строгой диглоссии, зная правила “двух языковых систем” – антагонистов (с. 116). Альтернативный язык описан мало, но это также язык народа, настоящий язык, защищённый от любой контаминации со стороны “застывшего” и “отдающего прошлым” (*passéiste*) языка власти. Здесь также не рассматривается возможность конформизма, молчаливой причастности народа к дискурсу власти.

Намного больше нюансов можно найти в тексте круглого стола, организованного “неофициальным” журналом Краковского университета *Tumult* (11' 1, 1988), в котором участвовали лингвисты, семиологи, журналисты, историки и литературные критики: “Czy koniec powomowu?” (Конец деревянного языка?). Здесь обсуждается следующая проблема: изменился ли язык современной пропаганды политической власти в Польше (*język współczesnej propagandy*). Этот круглый стол, к чести своей, показал, что участвовавшие в нём учёные далеки от консенсуса не только по поводу ответа на этот вопрос, но также и в самом определении деревянного языка (*nowo mowa*: новояз).

То же можно сказать и о роли лингвистов. Подводя итог исследованиям, проводившимся в Польше в течение многих лет, лингвист Й. Рокошова высказывает мнение, что сугубо лингвистический подход к деревянному языку не принёс ожидаемых результатов. Она видит в этом подходе методологическую ошибку (с. 17) и полагает, что у языка политической власти не существует никаких специфических черт, которые радикально отличали бы его от различных типов речевых актов, которые используются, чтобы повлиять на адресата.

Аналогично, для называющего себя “филологом” Ц. Михальски, модель Оруэлла – которую не следует рассматривать иначе, как метафору – никогда не осуществлялась на практике: даже в худшие времена сталинизма, никогда не было абсолютного контроля над частной жизнью, который проявлялся бы в языке.

Тем не менее, *nowo mowa* поддаётся описанию. Так, исследования совместного распределения в языке прессы 1980-х годов дали неожиданные результаты. Слово “идеология”, например, появляется в основном в негативных контекстах: “идеология” всегда чужая, враждебная. То же самое справедливо и для “людей” (*ludzie*): они “ошиблись”, “дали себя увлечь эмоциям”. Й. Рокошова делает на основании этого заключение о полной “идеологической пустоте” официальной прессы. Но новизна языка современной власти в том, что он менее “безличен”: люди власти (Раковски, Урбан) говорят от своего имени.

Тем не менее, здесь также существует альтернативный язык: это “обычный язык” (*język potoczny*), который находится вне досягаемости языка пропаганды. Если слова последнего используются в разговорной речи, возникает ироническая дистанция, это факт “метаязыка” (с. 21). Последний пример критики языка другого: *Пост-тоталитарный дух* (Париж, Издательство Грассе, 1986), сборник подпольных текстов, написанных под псевдонимом Петр Фиделиус, чешским лингвистом, вынужденным заниматься физическим трудом.

Автор предлагает скрупулёзный “филологический” подход к языку политической пропаганды в Чехословакии: следует воспринять пропаганду буквально, вплоть до самых её устоев, и взорвать её логические парадоксы. Он упрекает оппозиционную интеллигенцию своей страны в их презрении к пропаганде. Напротив, говорит он, её нужно принять серьёзно. Так, считать, что пропаганда лжёт – неточность:

“Когда официальная пресса говорит нам, что “партия – это ядро власти”, или что задача синдикатов, как внешних по отношению к партии организаций, состоит в исполнении программы партии, нам сложно поставить под сомнение истинность этих утверждений. Когда газета *Rudé Právo* провозглашает, что результаты политики партии “повсюду ощутимо видны”, погрешности стиля могут нас шокировать, но нужно признать, что автор говорит правду” (с. 84).

Только внимательное чтение слов пропаганды может, по мнению Фиделиуса, позволить выйти из пассивного сопротивления.

Основная часть книги посвящена изучению трёх ключевых слов: *народ*, *демократия*, *социализм*. Фиделиус анализирует «сбивающую с толку полисемию» слова “народ” в пропаганде (с. 275), непревзойденного по всем своим “традиционным значениям” (с. 268). Например, “большинство народонаселения” показывает не арифметику, а онтологию: интеллигенция относится или не относится к народу, по обстоятельствам (с. 279). Аналогично, отношения целого и части переменчивы: целое может быть редуцировано до ядра, не изменив при этом сущности. Для Фиделиуса, неизменным остаётся одно: Партия – властелин слов, потому как лишь она одна определяет расширение концепта народ (с. 269). Битва, в которую вступает Фиделиус, – это моральное и филологическое сопротивление “семантическим переворотам”, борьба за “хорошее использование” слов, за “денотацию” (с. 268), то, что А. Глюксманн в предисловии переводит французским выражением “истинная речь” (*parler vrai*).

### 3. Словарь настоящего языка: свой язык – это хороший язык

В статье «Антитоталитарный язык в Польше: механизмы языкового сопротивления» (*Language in Society*, том 9, № 1, март 1990,

с. 1-60) польский лингвист Анна Вежбицка предлагает детальный семантический анализ “контр-языка”, “спонтанно” созданного поляками для того, чтоб защищаться от тоталитарного языка власти. Согласно концепции, которая, кажется, широко распространена в Польше, она устанавливает абсолютную оппозицию двух “сфер”: власть / общество. Тезис А. Вежбицка основан на представлении о том, что две эти сферы не пересекаются (ср. красноречивый подзаголовок части статьи: “мы / они”, где “мы” – “это большинство населения”, “они” – “люди власти”). Эта ситуация, по мнению А. Вежбицка, более характерна для Польши, чем для других социалистических стран.

Аргументация здесь следующая: манипулирование языком в тоталитарной стране производит официальный тоталитарный язык. Он, в свою очередь, порождает “антитоталитарный язык”. Это язык разговорный, “народный”. Между нормами языка Государства (официальная сфера) и нормами “спонтанной коммуникации” в индивидуальной, частной сфере, существует полная антиномия, что приводит к диглосии: тоталитарный язык / антитоталитарный язык (как форма “языковой самозащиты”). Этот последний состоит из производных выражений: тайных слов и оборотов, которые дают “чувство облегчения и освобождения пленённому населению”.

Эти тайные речевые употребления может разделить каждый, значит, они создают социальные связи. Тайный язык – это “национальная самозащита против промывания мозгов со стороны пропаганды”, он помогает превозмочь страх, сохранить национальную идентичность и внутреннюю свободу. Принцип таков: в Польше сложилось антиобщество как сознательная альтернатива тому обществу, которое навязывается населению. Это антиобщество производит антиязык, который является “родным языком для подавляющего большинства населения”, даже если он не отражён в словарях. Этот тайный язык, “отражающий ценности общества”, направлен против номенклатуры, которая сама по себе есть что-то вроде антиобщества.

Антиязык касается не только лексики и терминологии, но также проявляется в согласовании и изменении флексий: некоторые несклоняемые сиглы или акронимы склоняются в антиязыке, другие изменяют род. Также наблюдается сатирическое использование русских слов, изменённых на польский манер: польское слово *humanizm* издевательски превращается в *gumanizm*, произносимый с русской фонетикой, в выражении «*socjalistyczny gumanizm*», чтобы показать, что речь идёт лишь о пародии на гуманизм. Аналогично, русское слово *naczel'stvo* (“шефы”, “управляющие”) используется в антиязыке в опояченной форме *naczal'stvo*, чтобы обозначить управление предприятием, с сильной коннотацией деспотизма. “Пуристы” про-

тестуют против опасности вторжения русизмов в польский язык, но А. Вежбицка не видит никакого риска: напротив, это противоядие от русификации и советизации, которая поощрялась режимом, эффективный механизм самозащиты.

Задача данной статьи – изучить антитоталитарный язык через разговорные наименования польской политической полиции со времён установления коммунистической власти. Пример: UB (*Urząd Bezpieczeństwa Publicznego*, “Комитет общественной безопасности”, польский аналог советского КГБ). А. Вежбицка начинает лингвистическую работу над эволюцией образа политической полиции, изучая элементы, отражающие изменения политической ситуации и изменения народного отношения. Таким образом, она предлагает семантический метаязык, одновременно “независимый от языка” и основанный на естественном языке. Через парафразы слов, выражений, конструкций на интуитивно понятном метаязыке и в “простых терминах” станет возможным провести точно сравнение сходств и различий между различными понятиями.

Этот метаязык, бесконечно более обеднённый, чем *basic English* Огдена, состоит из пятнадцати “семантических примитивов”, элементарных концептуальных блоков, которые сами не получают определения, и в терминах которых можно определить все другие слова или конструкции. В него входят: “я, вы, кто-то, что-то, это, хотеть, думать (о), говорить, воображать, знать, место, мир, становиться, плохой, хороший”. В данном случае, добавляется базовая (= не определяемая) семантическая единица: “институт”.

Возьмём пример UB, “акронима, который приобрёл столько негативных коннотаций” (ср. *Gestapo*), который никогда не использовался в официальном языке (где говорится *Bezpieczeństwo*, “Безопасность”, или *organy*), как будто бы официальный язык не осмеливался использовать это слово перед народом”. “Семантическое разложение”, которое предлагает А. Вежбицка, даёт следующие результаты:

- институт X и люди, которые в него входят
- я думаю о нём что-то плохое
- я думаю о нём как:
  - а) он делает плохие вещи людям
  - б) он не хочет, чтобы люди знали, что он делает
  - в) он может сделать плохие вещи кому угодно
- я знаю, что другие люди думают о нём то же самое
- я ощущаю что-то плохое, думая о нём
- я знаю, что другие люди ощущают то же самое
- я знаю, что не нужно ничего о нём говорить.

Термин UB – это явно слово антиязыка, поскольку оно никогда не употребляется в официальном языке. В этом последнем прибегают

либо к пассивным или безличным конструкциям: “операция проводится против...”, либо к описательным выражениям, как *apparat bezpieczeñstwa* (“аппарат безопасности”). UB стало настоящим словом, произносимым как «ube», среднего рода, в то время как заглавное слово синтагмы (*urząd*) – мужского рода.

По той же схеме, слово *ubowscy* (члены UB) будет раскладываться так:

- люди, которые принадлежат институту X
- я думаю про них:
  - а) они хотят делать одно и то же вместе
  - б) они делают людям плохие вещи
  - в) они могут сделать плохие вещи кому угодно
- я знаю, что другие люди думают про них то же самое
  - я ощущаю что-то плохое, думая о них
  - я знаю, что другие люди думают то же самое.

А. Вежбицка подчёркивает, что такие слова как *ubowscy*, *ubowski* (прилагательные) не зарегистрированы в словарях, “типичный пример того, как при тоталитарном режиме работает лексикография”.

Большое внимание уделяется морфологической деривации: слово *bezpieka*, «полусознательное искажение *bezpieczeństwo*», имеет тот же суффикс, что и слово *klika*, *banda*, который означает “люди, которые хотят делать что-то плохое вместе”, и который в то же время является увеличительным, что включается в “семантическую формулу”: “большая вещь, которая делает плохие вещи и хочет делать плохие вещи”.

Статья стремится показать “социальную связь”, которая основывается на этом антиязыке: что делают люди, когда используют такие производные формы, как *ubek* или *ubal* (образованные от UB), чтобы вложить в эти слова те же “прагматические значения”, что и другие люди? Как люди могут уверенно использовать новые слова, как *esbecja*, *ubecja*, не сомневаясь, что будут поняты так, как они этого хотели? Ответ в том, что “прагматическое значение” легко расшифровать благодаря суффиксальному словообразованию. Если новые слова, как *ubecja*, могут очень быстро “прижиться” и начать использоваться в сходных контекстах, то это потому, что их прагматический смысл немедленно определяется (на подсознательном уровне) благодаря формальным и семантическим связям, которые связывают их с другими словами.

Итак, задача лингвиста – сформулировать эти связи на сознательном уровне, сделать их очевидными. Исходя из положения о том, что “язык – это зеркало истории”, А. Вежбицка может таким образом показать, что народное отношение к политической полиции глубоко изме-

нилось в период между террором при Беруте и активным сопротивлением при Ярузельском.

Это изменение может быть измерено благодаря сведению терминов антиязыка к семантическим примитивам, позволяющим проводить сравнение.

Другой способ добиваться чистоты своего языка находим в издании *Prestavba hospodarského mechanismu* (“Перестройка экономических механизмов”), очень официальном тексте издательства Práce (Труд), вышедшем в Праге в 1987 году. Книга подаётся как словарь базовых понятий социалистической экономики в том виде, в котором она осуществляется в данный момент в Чехословакии. Это алфавитное представление правильной интерпретации слов собственного языка, задающее конкретные рамки, в которых то или иное слово должно быть понято и использовано. Такое внимание, уделяемое семантической точности словоупотребления, косвенно указывает на то, что вероятно могли быть и другие способы интерпретировать эти понятия, отсюда и необходимость перевода на правильный язык.

В целом объясняемые слова принадлежат области экономики; так, слово *chozrascot*, фонетическая транскрипция русского слова *хозрасчёт*, обозначающего бухгалтерскую автономию предприятий, или *vedeckotechnická revoluce*, “научно-техническая революция”, калька с русского. Но другие понятия вводятся в более широкий контекст, например, “информирование трудящихся: неотъемлемая часть демократического стиля управления”; “уровень жизни: /... / содержание этого понятия сейчас относительно стабилизировалось”; “догматизм: см. ревизионизм”; “информация: правильный субъективный образ объективного мира”.

#### 4. Деревянный язык – это язык, который мы производим

Случается, что авторы официального дискурса металингвистически осознают свой собственный текст и что власть задаётся вопросами по поводу своей языковой практики. Но в таком случае рефлексия направлена скорее на те языковые формы, которые служат препятствием для получения сообщения и его эффективности, а не на сам “язык” как таковой. Так происходит в книге *Povejmo naravnost!: Jezikovni odsevi birokratskih odklonov v samoupravni družbi in jezik množnicnih občil* (Давайте говорить прямо! языковые отражения бюрократических отклонений в обществе самоуправления и в языке средств массовой информации), опубликованной в Любляне в 1985 году. Это текст конференции, организованной рабочей группой по языку средств массовой информации (“словенский язык в его общественном употреблении”), в рамках Союза синдикатов Словении. Конференция принимает исходную посылку: социализм самоуправления основывается на “языковом соглашении”. Вот

почему “непонятно, как за 30 лет усилий по развитию самоуправления мы дошли до того, что язык, используемый органами и представителями общества самоуправления, совершенно запутан и остаётся серьёзным препятствием для коммуникации” (с. 7).

Эта работа задумана не только как “борьба против индивидуальных языковых слабостей”, но также и как “подготовка к выявлению и ликвидации социальных отношений, которые эти языковые слабости производят или позволяют” (с. 5). Речь идёт о том, чтобы бороться не только против английского и сербохорватского влияния на словенский язык, но ещё и против его “бюрократизации”. “Язык бюрократии” самоуправления очень далёк от альтернативного языка, который здесь получает название “повседневный язык” (*vsakdanji jezik*). Часть работ, представленных в этой книге, пытается численно представить этот разрыв при помощи статистических методов, сравнивая научно-технические и бюрократические тексты и газетные статьи о политической жизни. Осуществляется подсчёт слов, чтобы высчитать процент абстрактных существительных, пассивных и безличных конструкций, определить синтаксическую сложность предложений, и т.д. Одна из характеристик бюрократического языка – это злоупотребление безличными оборотами: вместо того, чтобы сказать “я объявляю приговор обвиняемому”, скорее скажут “обвиняемому объявляется приговор” (с. 9). В бюрократическом языке, автор текста “пытается нейтрализовать свою причастность, чтобы перевести возможный конфликт на абстрактный уровень” (там же). Отмечаются другие характерные черты: обилие аналитических сказуемых (*imeti mosan vpliv*, “осуществлять сильное влияние” вместо *močno vplivati* “сильно влиять”), использование эвфемизмов (*negativni finančni saldo*, «негативное финансовое сальдо» вместо *izguba*, «убытки»).

В книге предлагается ряд решений, чтобы “говорить прямо”, в частности, *называть вещи своими именами* (пример: работник социополитической сферы = политик).

По сравнению с предыдущими, подобная работа представляет для нас интерес, так как она является рефлексией над своим языком. Тем не менее, этот свой язык не ставится под сомнение, он просто наводнён плохими элементами, которые, будучи плохими, не являются внешними, а принадлежат языку.

### 5. Язык этого другого, который тоже – мы: язык других нас?

Все тексты, рассмотренные до настоящего момента, носили общий характер: будь то сознательное противостояние (А. Вежбицка) или сознательная пропаганда (“Язык и стиль буржуазной пропаганды”), всегда выражена абсолютно очевидная оппозиция: “они / мы”. Эта не вызывающая сомнений идентичность описыва-

ется в лингвистическом анализе, который исходит из принципа, что “язык” есть отражение истории и общества (ср. С. Инич: застывшая политическая речь в Югославии свидетельствует о глубоком кризисе в обществе; ср. А. Вежбицка). Поэтому столь важная роль и уделяется лингвистам, роль равно (если не более, чем) этическая и техническая. Поэтому обнаруживаются и константы в методах работы: “Язык и стиль буржуазной пропаганды” изучает три ключевых слова в пропаганде соперника: “агрессия / коммунизм / свобода”; книга П. Фиделиуса делает то же самое, со словами “народ / демократия / социализм”. Аналогично, результаты анализа языка другого, какой бы язык ни рассматривался, иногда обнаруживают удивительные совпадения. Так, изобилие безличных и пассивных фраз отмечается почти во всех работах (“Язык и стиль буржуазной пропаганды”, с. 25; А. Вежбицка; П. Фиделиус, с. 211; “Давайте говорить прямо...”, с. 9). Более того, язык другого всегда получает имя – указатель, мы видели его аватары, часто вдохновлённые Дж. Оруэллом (*powo towa* в польском, ср. также П. Фиделиус, с. 238, “Язык и стиль буржуазной пропаганды”, с. 61).

Наконец (за исключением двух текстов, которые не дают в открытую конфликтного описания общества, “Реструктурирование, ‘перестройка’ экономических механизмов” и “Давайте говорить прямо...”), общество анализируется по модели меньшинства (которое намеренно говорит на плохом языке) и подавляющего большинства (говорящего на хорошем языке).

Но главное, все эти тексты, какими бы они ни были, оставляют неприступным одно святое место: альтернативный язык, будь он назван “общенародный язык” (“Язык и стиль буржуазной пропаганды”), “естественный язык” (там же); “народный язык” (А. Вежбицка), “антиоталитарный язык” (там же); “обычный язык” (Тумуль); “повседневная речь” (С. Инич); “аутентичная речь” (там же); “повседневный язык” (“Давайте говорить прямо...”).

Даже когда лингвисты выражают скептицизм относительно возможности описания деревенского языка, остаётся непоколебимая определённость: определённость “настоящей речи”. Все эти тексты, так или иначе, предлагают программу борьбы: “отвоевать язык”, по выражению С. Инича.

Однако, существуют работы, которые отдалаются от этого успокоительного манихейства, тексты, в которых идентичность больше не основывается на прочности формально описываемого социолекта, вступает в игру, где границы высказывания нарушаются, накладываются друг на друга. И этим открытием мы обязаны не лингвистам, а авторам странной литературы – югославских афоризмов. В этом тексте, который резюмируется одной фразой – “Наш путь

действительно уникален, больше никому не пришло бы в голову по нему пойти!”, – сила и эффективность анализа, как мне кажется, происходят из колеблющейся идентичности говорящего, раскачивающейся между несколькими интерпретациями, в зависимости от того, инклюзивно или эксклюзивно это “мы”, сближается ли оно с универсальным или конкретным говорящим, или от того, может ли первая часть предложения принадлежать автору официального дискурса; тогда это предложение может становиться искажённым, пародийным дискурсом, в которое просачивается речь говорящего.

Так, человек может вобрать в себя речь другого, чтобы обратить её в насмешку, но в ответ она захлёстывает речь принимающую, ломая границы, размывая определённости. Тогда на язык другого больше нельзя указать, он больше не находится в стороне, он является частью своего языка. Больше невозможно держать дистанцию: они это мы, мы это они, между нами – один язык...

В этом кажущемся нигилизме не предлагается решение, и главное, нет поиска “настоящей речи”. И всё же мне кажется, я вижу здесь особенно удачный подход к проблеме места дискурса Другого, одновременно вне себя и в себе. Ведь не существует языка-убежища, где можно было бы укрыться от речей Другого. И вывод, который следует из этого извлечь, – не обязательно нигилистское отчаяние, возможно, это начало осознания связи дискурсивных механизмов и разделения субъекта. И если литература здесь обгоняет лингвистику, это совсем другой вопрос. Но сейчас нужно выполнить срочную работу, поразмышлять над объёмом понятия, которое во Франции редко ставится под вопрос – понятия “настоящей речи”. Вот действительная проблема, исследование которой должно бы было занимать все умы куда более, чем проблема “деревянного языка”.

© Серио П., 2008